

Олег Блоцкий

Последний поход



*Часть сборника
Предатель стреляет в спину
(сборник)*



Олег Михайлович Блоцкий

Последний поход

текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5314516

Олег Блоцкий. Предатель стреляет в спину: Эксмо; Москва; 2013

ISBN 978-5-699-63711-9

Аннотация

«Человек с фотоаппаратом, который висел на крепкой, широкой матерчатой ленте, похожей на автоматный ремень, но только черного цвета, протянул листочек, где черкнул пару слов, и Виктор отдал взамен деньги.

Потом они медленно пошли от набережной к центру. Егоров молча держал ее за руку. Спутница тоже молчала.

Последние дни она нервничала и как бы невзначай роняла, что вот-вот приедут друзья и тогда она исчезнет...»

Содержание

1	4
2	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Олег Блоцкий

Последний поход

*...Пока, Афган,
Прощай, мое видение,
Придуманное искренне не мной.
Я все могу,
Но сквозь преодоление,
Я не могу никак попасть домой.*

Андрей Стебелев

1

Человек с фотоаппаратом, который висел на крепкой, широкой матерчатой ленте, похожей на автоматный ремень, но только черного цвета, протянул листочек, где черкнул пару слов, и Виктор отдал взамен деньги.

Потом они медленно пошли от набережной к центру. Егоров молча держал ее за руку. Спутница тоже молчала.

Последние дни она нервничала и как бы невзначай роняла, что вот-вот приедут друзья и тогда она исчезнет.

– Всего на три дня, – скороговоркой прибавляла девушка. – Но я вернусь. Обязательно! – И старалась заглянуть Егорову в глаза.

Тот тоже нервничал и отворачивался, догадываясь, кто к ней приезжает. Виктор понимал: если женщина уходит к другому, то это окончательно, и никакие, даже самые страстные слова уже не помогут. Напряжение росло, и вот наступила развязка.

«Зря все-таки мужики выпячивают грудь и надувают щеки, – растерянно думал он, глядя на поникшую спутницу, – ведь именно они нас выбирают, а не мы их. Просто делается это умно и тонко, для нас абсолютно незаметно».

Немного погодя девушка, так и не проронив ни слова, осторожно высвободила руку, опустила голову еще ниже и быстро пошла вперед, почти побежала, прижав кулачки к груди.

Виктор смотрел вслед, пока легкое изумрудное платье не было окончательно сожрано пестрым равнодушным потоком, текущим быстро и настойчиво к морю.

«Тяжело тянуть губы в равнодушной улыбке, – подумал Виктор, – когда хочется закричать и броситься вслед».

Непонятно почему, но Егоров продолжал идти, и ему чудилось, что еще немного – и он вновь увидит девушку, что она осознает все, опомнится и вернется.

Но на Виктора по-прежнему все надвигались и надвигались чужие улыбающиеся лица. Казалось, что встречные знают о его несчастье и сейчас потешаются над ним. Его так и тянуло изо всей силы смазать по каждой сияющей загорелой роже кулаком.

Он шагал, мотал головой и думал, что напрасно сфотографировался. Глянцевый кусочек картона с запечатленными близкими людьми или приятелями всегда был для него признаком окончательного расставания.

В своем суеверии дошел до того, что наотрез отказывался становиться перед объективом рядом с друзьями. Карточки от них он тоже не брал. В оправдание лейтенант улыбался и прикладывал руку к сердцу: «Вы у меня здесь, мужики. Это самая верная память!»

Но сейчас именно Виктор настоял на фотографировании, сам толком не понимая, почему так поступил. Может, чувствовал неизбежность расставания и хотел лишь усилить его, чтобы окончательно и навсегда вырвать девушку из своей жизни.

Перед тем как утопить кнопку в корпус аппарата, фотограф, привычно и делано хихикнув, предупредил парочку, что сейчас вылетит птичка. И если девушка попыталась изобразить хоть какое-то подобие улыбки, то ее спутник еще сильнее набылчился, взглянув в объектив с такой ненавистью, что у старика задрожали руки, и, вместо одного, пришлось сделать целых три кадра.

Навстречу все так же шли веселые курортники в пестрых майках и ярких аляповатых шортах. Злость против них стала столь острой, что Егоров свернул туда, где дома были приземистее, дряхлее, зелень – гуще, а земля под ней – сыроватой.

Он долго петлял по незнакомым узким улочкам, которые даже в самый зной удерживали прохладу. Асфальт походил на старую, кое-где лопнувшую и задубевшую кожу. Совсем как на пятках пленных духов, рядом лежащих на земле, воткнувшись в нее бородами и сцепив руки на коричневых шеях.

Углы двухэтажных домов в некоторых местах были отбиты, кровенясь багровым кирпичом. Зато стены тех же домов мягко обнимали коричневые стебли винограда, а внизу, перед строениями, просторно раскинули хищные плети кусты дикой розы.

Не выбирая дороги, Виктор все шагал и шагал, упрямо взбираясь вверх по перекошенным улочкам с канавками-змеяками вдоль них, и почти сбегал вниз, когда они, углубляясь, сбегали под уклон. Много раз он с силой пинал камни, и те летели в стороны. Боли не чувствовал.

Иногда в разрывах пыльных вялых деревьев виднелось море. У горизонта оно было серым, а ближе к берегу – темно-зеленым. Солнце все ниже склонялось к его поверхности. Дорожка света на беспокойной воде сужалась. Качающиеся лодки были похожи на разноцветные пробки в большой мутной луже.

Виктор хотел забыть девушку, поэтому все время пытался вспомнить, когда, где и как она его обидела. Но непокорная память выносила из своих глубин только самое чистое, лучшее и нежное, что было между ними за прошедшие две недели. От этого становилось еще больнее, ладони увлажнялись, и Виктор все прибавлял и прибавлял шаг.

Потом Егоров вдруг вновь оказался на переполненной набережной.

«Отчего я здесь? – подумал он. – Может, потому, что в толпе страдание переносится легче. Смотришь на людей, ловишь обрывки фраз и хоть на мгновения, но отвлекаешься от собственной боли. Или я все-таки надеюсь увидеть ее?»

Виктору постоянно казалось, что девушка уже тут и тоже пытается отыскать его. Он снова и снова пересекал набережную. Каждый раз, когда оказывался рядом со стариком-фотографом в смешной детской панамке и пижонистых шортах, тот, прищурившись, провожал долгим взглядом темноволосого парня, глаза которого беспокойно ощупывали толпу. «Потерял девку, остолоп, то-то же», – злорадствовал старик.

Сидя на лавочке под серыми, уставшими от зноя деревьями, Егоров курил и сосредоточенно смотрел на высокие колонны, соединенные сверху бетонной дугой, которую украшала выпуклая надпись: «Граждане СССР имеют право на отдых».

Он испепелял взглядом каменные столбы и вспоминал тех «граждан», которые очень далеко отсюда успокоились навсегда.

В моменты отчаяния, беспросветной тоски, когда казалось, что жить дальше нет никакого смысла, Виктор возвращался мыслями в Афганистан. Но не для того, чтобы понять всю ничтожность нахлынувших переживаний и лишний раз порадоваться спокойной нынешней жизни и тому, что он выжил. Напротив, весь этот послевоенный год именно в прошлом, в Афгане, Егоров все сильнее ощущал истинную жизнь для себя.

Как всегда, воспоминания не приносили облегчения, однако грусть становилась осмысленней, а печаль – размеренной, словно дымка, медленно текущая от затухающего, на глазах седеющего костерка, привычно разбитого на привале.

И одна картинка сменяла другую.

...Прильнувшие к обочинам дороги, окоченевшие от ночного холода железные трупы сгоревших боевых машин. Кое-где ржавые остовы, словно саваном покрытые мохнатым инеем, ярко искрящимся в лучах восходящего солнца.

Солдат с перемотанной бинтами головой до самого кончика носа, которого выводили испуганные товарищи под руки из «зеленки», куда советские войска втягивались с тяжелыми боями. Раненый идет, спотыкаясь, и отупело, с какой-то непонятной жадностью, пожирает зеленые яблоки, доставая их из кармана и чуть ли не целиком засовывая в рот: хр-р-хр-р, хрусть, хр-р-хр.

Их бронетранспортер стоит на обочине дороги, недалеко от армейской заставы, дожидаясь колонны. С башни боевой машины, на которой удобно устроился лейтенант, просматривается все афганское кладбище, которое начинается тут же, за невысоким забором. Виктор видит, что там сейчас молятся около десятка афганцев.

Мужчины сидят, подломив под себя ноги. А рядом – труп, плотно завернутый в тряпки белого и желтого цветов. Потом афганцы вскакивают и, подхватив тело, бегом устремляются к вырытой яме.

«Скоро все там будете», – с ненавистью думает офицер, сплевывая на дорогу. Злость неукротимо рвется наружу. Она возникает еще и оттого, что во время всей этой траурной церемонии ни один из афганцев даже не взглянул в их сторону. Словно советских военных вообще в природе не существует.

Подобную наглость Егоров стерпеть не может. Он сбрасывает предохранитель и начинает посылать очередь за очередью в землю рядом с афганцами. Те моментально падают ниц, инстинктивно закрывая головы руками.

Покойник заваливается в яму. Но какой-то шустрый афганец еще раньше нырнул в могилу, оказавшуюся столь удобным укрытием.

Офицер закуривает и приказывает пулеметчику держать душар в таком положении до тех пор, пока не покажется колонна.

– Кто шевельнется – гаси. Душары не ходить – ползать должны! Пол-зать, когда нас видят!

Егоров отчетливо видел лица солдат и офицеров, покрытые жирным слоем желтой пыли, когда танки, грузовики, бронетранспортеры, боевые машины пехоты прерывистой, а от этого кажущейся нескончаемой цепочкой шли по разбитым ухабистым дорогам.

Затем он вдруг оказывался в насквозь прошитом гранатометом бронетранспортере и видел лужу крови, подсохшую по краям.

Потом Егоров вдруг переносится на КП своего полка, который тоже принимает участие в армейской операции по прочесыванию ущелий. Кэп, командир полка, отдает последние приказания.

Лейтенант, слушая указания, видит, как со всего плато стекаются цепочками маленькие человечки с огромными рюкзаками за спиной и оружием на плечах. Потом они рассаживаются кружком на отведенных местах и ждут своей посадки на вертолеты, которые должны будут выбросить их в тыл духам, отступающим по ущельям под натиском входящей в них еще с рассвета советской пехоты.

А вертолеты уже идут за десантом каруселью: друг за другом – к посадочной площадке. Как только один из них ударялся колесами о землю, одна из группок моментально вскакивала и бежала к боевой машине. Еще немного – и вертушка взмывала вверх. Огромное облако

пыли поднималось вверх вместе с вертолетом, на время закрывая всех, кто был около площадки.

И так раз за разом: облако пыли окутывает приземлившуюся машину; в нем исчезают бегущие к вертолету человечки; начинающее оседать облако вновь набухает, раздувается, обволакивая все вокруг на десятки метров; затем вертушка вырывается из него, с силой вращая лопастями.

Вертолет чуть зависает, кренясь набок, на мгновение замирает (лейтенанту кажется, что еще чуть-чуть – и облако вновь втянет машину в себя, чтобы с силой швырнуть ее на землю), а затем, круто наклонив нос вперед, начинает разворачиваться, уходя к горам и становясь все меньше и меньше.

Егоров видит, как боевая машина плывет вдоль цепочки гор, а по их склонам бежит, то увеличиваясь, то уменьшаясь, его черная тень. И кажется Виктору, что это змея скользит за машиной, чтобы, настигнув, смертельно ужалить. Еще думает в этот момент лейтенант, что вторым потоком пойдет и он со своим взводом.

Картины яркие, осязаемые. Ему кажется, что он вновь там, среди своих, которые никогда не предадут и не подставят, не то что девушка, которая сейчас его предала.

Ощущения были столь глубокими и живыми, что, внезапно потревоженный чем-то или кем-то, Егоров с удивлением крутил головой, не сразу понимая, каким образом он оказался здесь, возле моря, а не там – у подножия гор.

Тогда Виктор начинал смотреть вдаль, чтобы лишний раз удостовериться – он здесь, а не там.

У самого горизонта шла едва заметная рябь, среди которой лишь на мгновения появлялись белые гребешки. Чем ближе к берегу, тем их становилось больше. Они вырастали в размерах и приобретали все более причудливую форму.

Но память, до крайности обостренная предательством, вероломством девушки, все не оставляла Егорова в покое... «Граждане СССР имеют право на отдых».

Гибель ребят до сих пор кажется ему нелепой. Впрочем, размышлял он, любая смерть трагична и глупа. Это потом в руки погибших вкладывают гранаты или швыряют их грудью на амбразуры. А кто знает, как это было на самом деле? О чем думали люди, боком, неловко сползающие на вражеский пулемет?

Однако как бы там ни было, а смерть предугадать совершенно бессмысленно. Еще тяжелее осознать, что знакомых тебе людей не будет уже НИКОГДА.

Как и девушки, подумал опять парень, прикуривая следующую сигарету от еще тлеющего окурка, который тут же уронил под ноги.

Только один раз пришел лейтенант в морг. И только там понял – никогда не надо смотреть на того, кого хорошо знал живым. Ты его видишь таким, каким не знал: холодным, недвижимым, бледным, чужим. Это все равно, что после спелого яблока взять в руки неряшливо раскрашенную восковую подделку. И последнее в памяти обязательно оказывается сильнее.

Поэтому, вспоминая Сашку, Егоров увидел стылый, полутемный маленький морг, где на грубо сваренном железном столе вытянулся какой-то незнакомец со связанными на голом впадом животе руками.

Виктор сидел, опустив голову, и ему было так одиноко, что вдруг показалось – находится он в центре огромного плато. Вокруг – высохшая и растрескавшаяся земля. На горизонте – разноцветные глыбы гор. Приближается ночь, а ребят рядом нет. Они почему-то ушли туда, за горы, в сторону полка.

Почему и когда это произошло – лейтенант не помнит. Сейчас он даже и не думает об этом, потому что страшное отчаяние человека, одинокого среди чужого, враждебного и

непонятного ему мира, все сильнее охватывает его. И откуда-то издалека пробивается неожиданное понимание: все оставившие его – покойники. И Виктор вдруг замечает их...

Они идут не оборачиваясь... Ему кажется, что он видит их такими, какими они запомнились ему наиболее ярко: Сашка смеется и подкидывает панаму вверх; Виталька хмурится и еще раз вглядывается в топографическую карту; Эдик матерится и кричит, что сухпаев все равно на весь выход не хватит; Файзи, набивая «Беломорину» травкой, радостно цокает языком; Вера тихо плачет и все спрашивает: «Там страшно будет, да? Страшно?»; Борисыч, майор, аккуратно режет на газете ровными ломтиками сало; Серега тягает гирию, и его сильное, мускулистое, обнаженное до пояса тело блестит в лучах заходящего солнца, точно маслом намазанное; а Валерка, совершенно пьяный, даже не пытаясь смахнуть слезу со щеки, все спрашивает: «За что она так меня? За что?»

«Вдруг они смотрят на меня оттуда, сверху? – внезапно подумал Егоров. – Может, они чувствуют, что я их вспоминаю, и от этого ребятам становится лучше? Ведь человеку всегда хорошо, когда он знает, что о нем кто-то думает. Хотя бы изредка».

Об этом не раз думал Виктор еще там, в Афгане, когда во время дежурства выходил по ночам перекурить на крыльцо штаба, разгоняя подступающий сон.

Глядя на выскакивающие из толстых облаков крупные звезды и слыша тонкий, пронзительный плач шакалов за кольцом минных полей, казалось тогда лейтенанту, что это рыдают души друзей, кружащиеся над полком, откуда начинался их путь к смерти.

Под утро, когда спать хотелось особенно сильно, от выкуренных сигарет становилось горько во рту и Егоров безостановочно вышагивал по небольшому крыльцу, стоны постепенно затихали.

Виктор, едва улавливая последние печальные звуки, вздрагивал, и казалось ему, что души, оплакав скорые встречи с ныне живыми, взмывают к своим планетам, чтобы в следующих сумерках непременно вернуться обратно.

Теряя друзей, лейтенант все чаще задумывался об их бессмертии. Постепенно уверился он, что ребята живы, но только существование их другое, не видимое и не осознаваемое оставшимися. Еще знал Егоров наверняка, что он непременно свидится с ушедшими. Обязательно свидится.

Не может быть, чтобы жизнь оказалась настолько бессмысленной и прервалась так внезапно. Да и сама жизнь – далеко не глупая штука. Она имеет свои законы, которые люди иногда смутно улавливают, но зачастую то ли из-за лени, то ли по нежеланию даже не пытаются понять, обязательно пеняя, что жизнь все-таки – бессмыслица.

Слева от набережной по спиральному желобу с постоянно стекающей водой загорелые дочерна мальчишки скатывались в небольшой бассейн, окруженный зеваками. Гибкие детские тела исчезали под водой, швыряя в людей россыпи крохотных блестящих камушков. Толпа весело откидывалась назад. Девушки, взвизгивая, прятались за спины спутников.

«Для них вода – отдых и развлечение, – со злостью подумал Виктор, – а там она принесла Вере смерть».

Медсестра утонула в быстрой бурлящей реке, которая с ревом пыталась вырваться из своего тесного зигзагообразного русла. Вера не могла перенести адскую жару и долгую тряску в душном брюхе бронетранспортера. Она решила хоть на несколько минут войти в ледяную, перехватывающую дыхание воду. Течением женщину вырвало из тихой на вид запруды и понесло вниз, ударяя о камни.

Егоров не смотрел на утопленницу, он хорошо помнил Веру, которая в свое время выхаживала его в медсанбате.

В мягкую звездную ночь расстреляли из мчащейся на полном ходу машины Серегу. В Афгане он пробыл каких-то четыре месяца.

Лейтенанты вместе прилетели в Кабул на «пересылку», попали в одну часть и даже оказались соседями по комнатам.

Виктор помнит, как Серега, увидев кроссовки «Адидас» в полковом магазинчике, причмчался взмыленный в модуль занимать деньги у своего командира. До зарплаты им, «зеленым», было еще не скоро.

– Смотри, какие крепкие! – по-детски радовался Серега и подносил обувь к лицу Егорова. – Настоящая кожа! Со школы мечтал, да деньжищ таких у родителей сроду не было. Даже и не заикался о них.

– Любой поворот в жизни хорошо начинать стоящей покупкой, – заметил тот.

– Конечно, – согласился Серега. – А если с такой! – И он восторженно закатил глаза.

Серега еще долго не мог налюбоваться на «свои кроссовочки». Он мял их в руках и, блаженно жмуря глаза, вдыхал резкий запах кожи.

Затем, вздохнув, лейтенант аккуратно убрал обувь в сине-белую коробку, которую спрятал на дно небольшого чемодана.

Егоров по слухам знал, что у Сереги в Союзе есть девушка, на которой он собирался в ближайший отпуск жениться.

– Поскорее бы в отпуск! – мечтательно заключил Серега, шелкая замками.

Егоров понимающе кивнул, вспомнив ночь, когда накануне, впервые, родители купили ему индийские джинсы. Тогда он несколько раз просыпался, ощупывал прочную ткань и с нетерпением поглядывал на все еще темное окно.

Кроссовки «Адидас», старый спортивный костюм да военная форма, вот и все вещи Сереги, которые сопровождающий увез вместе с гробом его родителям в деревню куда-то под Кострому.

В рваные кровавые ошметки разнесло на фугасе командира роты – Валеру. Саперу до замены оставалось чуть больше месяца.

Поначалу в Афгане Виктор очень интересовался саперным делом. Оказавшись на боевых, которые закончились потерями, лейтенант понял, что все смертны и он, Егоров, не исключение. Так пришел страх. Преодолеть его взводный пытался на небольшом полигоне, находившемся за бараками саперной роты.

Если бы начальство застукало Виктора за тем, что он, потный и багровый, разыскивает мины, стоящие на боевом взводе, последствия для его учителя были бы самыми плачевными.

Но – пронесло. За прилежность и старание сапер обещал в подарок добросовестному ученику щенка. В его роте немецкая овчарка раз в год обязательно давала приплод.

– Я выберу самого лучшего. – Подвел итог подпольным вечерним занятиям Валерка.

– Выбери, – взмолился Егоров. – Знаешь, что я в детстве говорил родителям? Хочу щеночка-овчарочку. Да так и не дождался. Где ее держать в малогабаритной служебной квартире?

– Дождешься. Непременно будет щеночек-овчарочка, – смеялся сапер.

– Вот здорово! – совсем по-детски мечтал лейтенант. – Собаки не то, что люди. Они никогда не бросают... Они – верные.

– Точно, – мрачнел Валерка, и две глубокие морщины вонзались ему в переносицу.

Жена старлея загуляла сразу после его отъезда. Доброхоты-соседи, как водится, немедленно сообщили об этом Валерке.

В отпуске сапер в квартиру не вошел. Поставив чемодан с подарками у двери, он саданул кулаком по звонку и полупьяный отправился к друзьям, а оттуда – в Крым, где за пару недель в ресторанном угаре прокутил все деньги, которые складывались на его сберегательной книжке в Союзе в течение года. Валерка даже трофейные японские часы продал.

У мужиков челюсти отвисли, когда, вернувшись с боевого выхода, они увидели своего ротного, лежащего на кровати с бутылкой пива в руках, хотя до окончания отпуска ему оставалось еще почти две недели...

— Здесь спокойнее, — оправдывался тот после взаимных объятий и продолжительных ударов друг друга по спине, мигая глазами-щелочками. — Что там, в Союзе, делать? Скукота! Я, вот, водки привез, пивка, сальца и колбаски копченой. Давайте дернем, что ли, ребята?

И они дернули. Да так, что модуль почти целую ночь ходил ходуном, а музыка подняла, наверное, всех духов в ближайшем кишлаке.

Валерка постепенно пьянел, становился мягче, обнимал за плечи взводных и время от времени что-то им говорил. Те отвечали. А потом они все вместе хохотали. И громче всех — Валерка. Но Виктор заметил, что в настороженно-стеклянных глазах сапера застыла печаль и тоска, совсем как у побитой, бездомной собаки.

«Может, Валерка потому и погиб, — думал сейчас Виктор, — что не собирался возвращаться. Ведь как можно видеть человека, который тебя предал?»

Виктор разговаривал с сапером буквально за день до гибели: оба они заступали помощниками дежурных по своим подразделениям и поэтому встретились на общеполковом разводе.

— Что не заходишь? — спросил, улыбаясь, сапер.

— Времени нет, — честно ответил лейтенант. — Совсем замотался. Но обязательно заскочу.

На следующий день Валерку срочно отправили на сопровождение колонны, где он и погиб.

Когда появились щенки, взводные принесли Егорову самого крупного.

— От Валерки, — сказали они и замялись на пороге, не зная, что говорить и делать дальше.

Крохотный пушистый шарик тыкался мордочкой в пол и жалобно попискивал. Ком подкатил к горлу лейтенанта. Он отрицательно покачал головой, понимая, что, скажи хоть слово, и слезы покатятся по щекам. А плакать на войне, даже среди товарищей, нельзя, не принято...

Старшина роты прапорщик Эдик, постоянно матерящий солдат из-за трусов, маек, полотенец и простыней, которые к концу недели почему-то покрывались желтоватыми пятнами, успел-таки вытолкнуть водителя из кабины, но опоздал выпрыгнуть сам. Машина, вращая колесами, полетела в пропасть, где и сгорела, взорвавшись.

Виктор снимал фотографии семьи Эдика со стены и думал о его детях. У лейтенанта были живы родители, и представить, что он потерял кого-нибудь из них, было просто невозможно.

«Некоторые считают, что, взрослея, у них отпадает надобность в родителях, — размышлял тогда Виктор, вглядываясь в такие милые мордашки детей Эдика. — Это совершенно не так. Вырастая, мы сталкиваемся с еще большими неожиданностями и неприятностями, нежели в детстве. И кто нам поможет, хотя бы словом, в такие моменты, как не родители? Кто? Ведь они самые близкие люди на Земле. И, наверное, единственные, кто действительно не желает нам зла».

По вечерам, надежно укрывшись от посторонних глаз в своей тесной комнатухе-каптерке, где Эдик хранил наиболее ценные, на его взгляд, предметы ротного армейского обихода, старшина тщательно выстраивал в ученической тетрадке в клеточку колонки цифр и только ему понятных записей.

В маленьком коллективе, где со временем даже самое тайное становится явным, прознали о «счетоводстве» и вовсю подначивали Эдика за его скупердяйство, особенно во время совместных ужинов...

Эдик хмурился, все так же исправно молотя челюстями, и в дискуссии не вступал. Но однажды, по большой пьянке, его разобрало, и он обиженно закричал:

«Я что – для себя жадный? Я для семьи жадный. Приеду, вот, дочке фортепьяно куплю. А то она у меня в школе музыкальной учится, а дома по фанерке, где я ей черные и белые полосы нарисовал, стучит. Пальцы в кровь. Жена плачет и не хочет никакой музыки, а девочка упрямая и одаренная очень. Учителя говорят, что такие раз в сто лет рождаются. Почему она должна так – пальцы до мяса? Потому, что я прапор несчастный? Нет, в доме моем все для детей будет! Это мы с женой детдомовские, безродные, а у детей наших родители есть. И помирать стану – все им перейдет. Ничего мне не надо. Думаете, я здесь на третий год от хорошей жизни остался? Нет! Я все подсчитал!»

Старшина судорожно рванул сложенную пополам тетрадь из внутреннего кармана расстегнутой куртки. Мужики стыдливо опустили глаза, думая, наверное, что подобной глубинной любви к дому никто из них от вечно недовольного Эдика не ожидал.

Именно в Афгане Егоров все чаще стал вспоминать отчий дом. И когда он внезапно просыпался посреди ночи от резкого толчка страха и потом долго не мог уснуть, лежа с раскрытыми глазами, ему так хотелось, чтобы родители пришли сейчас, присели на край солдатской койки, обняли, приласкали и спросили о жизни.

Тогда лейтенант, едва сдерживая рыдания, ответил бы, что живет он плохо, очень плохо, постепенно превращаясь в другого человека, не такого, каким они его помнят. И что теперь он очень часто поступает совсем не так, как учили они его в детстве.

Потому что последние остатки детства ушли, исчезли, растворились в смолистой афганской ночи, где так громко тарахтят движки электростанций да время от времени раздаются длинные автоматные очереди, уносящие вереницы раскаленных до красноты шмелей в сторону невидимых во тьме гор.

Потом Егоров пытался заснуть. Но на него вновь удушающе накатывал КРИК, от которого он просыпался. Крик был безмолвным, страшным, раздирающим всего Виктора изнутри. Поначалу Крик едва слышался, но с каждой секундой он расширялся, тьма становилась гуще, и лейтенант начинал в ней вращаться.

Крик, безмолвный Крик, разрывал голову. У офицера перехватывало дыхание, он чувствовал, как куда-то проваливается, постоянно вращаясь, а КРИК такой, что он не может его больше выдержать. Егорову становилось больно и страшно. Он уже не в состоянии был контролировать ни себя, ни свои чувства.

Лейтенант открывал глаза. По-прежнему ночь и тьма. Но она какая-то резкая, острая, а не мягкая и обволакивающая, какой была обычно. Сердце Егорова колотилось, потому что он знал: Крик не ушел, он только затаился, он рядом, он даже в нем самом.

Офицер закуривал и жадно хлебал воду из трехлитровой банки, стоящей на фанерке, прилаженной к кондиционеру.

Постепенно руки и ноги расслаблялись. Егоров вновь закрывал глаза. Крик вроде бы ушел. Но лейтенант по-прежнему боится его. Очень боится. Он знает, что тот еще вернется. Непременно вернется. Засыпать было страшно. В итоге Виктор включал свет и садился за стол.

Поначалу слова не складывались в предложения. А затем внезапно письмо родителям выходило очень хорошим: бодрым, заботливым и теплым: «Жив и здоров. Совершенно не болею. Все замечательно. Погода прекрасная. Кормят до отвала. Надоело бездельничать. Только и делаю, что сплю да читаю. Жду отпуска. Очень соскучился. Всех вас сильно

люблю. Крепко целую. Да, не забудьте поцеловать за меня и Тома. Кстати, как он там, этот кошара?»

Потом лейтенант курил, пил чай, вскипяченный в трехлитровой банке, вспоминал родителей. Он думал о том, что не всегда был хорошим сыном и часто расстраивал их, совершая множество больших и малых глупостей, что почти во всем был неуступчив, стараясь доказать свою правоту. А потом со временем жизнь подводила его к выводу, что правы все-таки были родители.

Виктор большими глотками пил чай из стакана, и ему становилось стыдно за все те переживания, которые он доставил родным. И уж совсем ему не хотелось представлять, как бы они отреагировали на известие о том, что он сам, добровольно и настойчиво добивался своей отправки в Афганистан. Слава богу, ему удалось это скрыть и представить все дело так, словно его отправило к новому месту службы по плановой замене начальство.

На войне лейтенант очень часто во сне видел дом. А здесь, в мирной жизни, ему снился Афган. И чем дальше он от войны, тем ближе становились люди, которых Виктор навсегда оставил там. Видя их бесчисленное количество раз в своих снах и вспоминая днем, Егоров искренне сожалел, что был с кем-то из них порой грубым, а к кому-то иногда относился невнимательно. И острое сожаление о том, что ошибки уже невозможно исправить, наполняло сердце тягучей болью...

Воспоминания порождали неудержимое желание выпить. А сделав это, Виктор ощущал, что его память становится острее, четче и избирательнее. И погибшие начинали приходить к нему один за другим постоянно. С кем-то Егоров разговаривал, на кого-то просто смотрел со стороны, а кто-то, приходя, пристально всматривался в него и... исчезал.

Так было все эти месяцы: день за днем, ночь за ночью. Особенно тяжелыми были пред-рассветные часы, когда он просыпался от острого удара похмелья.

Лежал в каком-то полубытьи, не понимая – то ли снится ему все это, то ли это галлюцинации... Знал, что весь этот бурлящий поток лиц, запахов, стрельбы, диалогов, ощущения жуткого удушья и жары, страха, пронизывающего до костей холодного озноба и ярости он сам прервать не в силах... Наверное, до тех пор, пока мозг окончательно не отключится, подобно внезапно перегоревшей от постоянных перепадов напряжения лампочке...

Только тогда наступали короткие часы полного забытья. Лишь в это время можно было не вспоминать. Не вспоминать многое.

Например, что когда-то в Афгане умер от желтухи еще один человек, с которым Егорова роднил их общий город.

Майор приходился лейтенанту земляком, что еще больше сближало разных по возрасту и сроку службы в Афгане людей. В отпуске он навестил родителей Егорова, а потом, надрываясь, тащил через весь Союз огромную посылку с домашними гостинцами...

Майор умер осенним утром, когда ночную стылость начинает пожирать восходящее солнце, а иней на пересохших, пожелтевших и скрученных листьях постепенно обращается в капли, слезами летящими на холодную и звонкую от шага часовых землю.

В то время Виктор тоже валялся в «заразке».

Подчиненные майора привезли огромный арбуз. Егоров увидел ребят возле отделения и сказал, что майор час назад помер и его перенесли в морг.

Парни остолбенели, а затем растерянно опустили темно-зеленый шар на асфальт и помчались к начальнику госпиталя.

Виктору стало жутко, что именно он оказался вестником смерти. Никогда раньше ему не приходилось выступать в подобной роли. Он выкинул сигарету и побрел в палату. Следом шел артиллерист Андрей, крепко прижимая к груди арбуз.

– Выбрось, – сказал Егоров, – или отдай бойцам.

– Отдам, – заверил Андрей. – Конечно, отдам, но только половину.

– Это арбуз майора! – разозлился лейтенант.

– Который мертв, – жестко заметил артиллерист. – Арбуз твой!

Под вечер в морге, где за тяжелой белой дверью лежал навсегда успокоившийся земляк, Виктор купил у молодого, но почти совсем лысого старшины-сверхсрочника спирт. Потом в тиши палаты они разводили его глюкозой из ампул, которые выпросили у дежурной медсестры, и пили...

После каждой стопки артиллерист, едва переведя дыхание, говорил, что нет закуски лучше арбуза.

– Не могу, – сопротивлялся Виктор и отводил настойчивую руку с большим серповидным ломтем в сторону. – Это не мой арбуз, а майора.

– Дурак! – раздражался артиллерист. – Его нет. Ребята оставили арбуз тебе.

– Нет, – возражал Егоров. – Они растерялись, а положили на землю потому, что идти с ним в морг – глупо.

– Наверни кусман, – уговаривал Андрей. – Смотри, какой сочный...

Артиллерист широко распахивал рот и ухватывал нежную мякоть крупными желтыми крепкими зубами. Сок тек по подбородку, и Андрей постоянно хватался за край застиранной госпитальной куртки, обтирая ею лицо. Виктор отворачивался, ненавидя артиллериста. Еще он с ужасом думал о встрече с женой майора и о том, что он сможет написать ей сейчас.

– Представляешь, – нервно говорил Егоров, постоянно покусывая нижнюю губу. – Только вчера я от него мух отгонял, в реанимации. Майор лежит под капельницей и рукой двинуть не может. А мухи, сволочи, все на лицо к нему, все на лицо. Тогда я девочек-медсестер упросил, и они меня к Алексей Борисычу внутрь пустили. Он худой такой, как скелет, и глаза закрыты. А мухи все на лицо к нему, все на лицо. Он губами шевелит, а они не боятся – в самый рот лезут, бляди. Я рядом с Борисычем сел и сук этих отгонять стал.

Вдруг он глаза открывает.

– Ты, Вить? – говорит.

– Да, я, – отвечаю.

– Уходи, – шепчет. – Заболеешь и тоже, как я, с трубкой в груди лежать будешь.

А я сказал, что не заболею, потому что зараза к заразе не пристаёт. Он подумал, что у меня тоже гепатит, и успокоился. Я ему не стал говорить про брюшник. Это для него все равно не опасно было. Я ведь у девчонок наперед спросил, и они ответили, что брюшной тиф по воздуху не передается.

Потом Борисыч глаза закрыл, а я ему сказал, что письмо от мамы получил, где она пишет, как они с женой Борисыча по магазинам ходили, и как его сильно любит жена, и что ждет она его не дождется, и только и делает, что о Борисыче вспоминает.

Я ему о детях говорил, ведь они в маминой школе учатся. Мол, самые лучшие они: сын совсем взрослый, серьезный, а девочка – прилежная и старательная. Они – отличники, и их на всех школьных линейках постоянно другим в пример ставят. И жене Борисыча они все время помогают: в магазины ходят, дома убираются. Сын его не курит и с пацанами по подворотням не шляется.

Я вот все это говорил и думал, что он меня совсем не слышит, а Борисыч вдруг про сына переспрашивать стал. И я подтвердил, что он самый лучший в школе.

Да я врал ему все, Андрюха, врал! Не было никакого письма. А сын его – придурок и раздолбай: дома неделями не ночует, выпивает со старшими пацанами и уже давно на учете в детской комнате милиции стоит. Только Борисыч ни о чем этом не знает. А теперь... теперь... он вообще ничего не узнает.

Представляешь, мужики покупали арбуз и определенно думали, как он обрадуется. Они выбирали самый спелый и, конечно, не торговались. Потому что стыдно выгадывать деньги на человеке, который болеет.

Мужики хотели сделать ему приятное и не подозревали, что в это самое время майор умирает. Как же так – был человек, и нет его?

– Каждому свой путь, – отвечал Андрей, становясь необычно серьезным. – Никто не знает, где и когда он даст дуба. Кто-то погибается молодым, а кто-то старым и в постели. Каждому своя смерть, и это не от нас зависит.

– А от кого?

Артиллерист резко вонзил указательный палец в потолок, и Егоров вздрогнул.

– Но там же никого нет!

– Есть, – уверенно сказал старший лейтенант. – Сначала, попав сюда, я, как и ты, думал. Но теперь, после полутора лет... Есть! Кто-то там обязательно есть! Не знаю, кто это и что, но есть. Поэтому люди так по-разному и умирают, потому и не знаешь срока своей смерти. Это хорошо, что не знаешь. А вдруг она рядом стоит?

Глаза артиллериста потемнели, и Егоров прямо-таки кожей ощутил медленный, леденящий танец небытия вокруг себя. В тот момент ему показалось, что костлявая рука и в самом деле где-то рядом и вот-вот схватит его за сердце.

Лейтенант порывисто обернулся, но в тусклом свете, кроме двух рядов солдатских коек, выкрашенных в белый цвет, и деревянных тумбочек между ними, ничего не увидел.

– Я в Афгане достаточно, – продолжил Андрей, – и понял, что если не веришь, то погибнешь. Непременно убьют. Чтобы выжить – надо верить. Обязательно! Все равно во что, но верить надо. Иначе – хана, – и артиллерист ударил себя ребром прозрачной ладони по горлу.

– Ты... ты... веришь?

Старший лейтенант распахнул блеклую госпитальную куртку и оттянул застиранный тельник. На его худой впалой груди висела маленькая иконка.

– Перед отъездом ночью жена повесила, сказав, что пока Божья Матерь со мной, я буду жить.

– И ты... веришь?

Виктор испытал какое-то странное отторжение...

Потом, куря, они сидели на госпитальной лавочке. Большие черные тучи закрыли окружающие долины горы.

Дождь из редких и крупных капель постепенно превращался в ливень. А офицеры, промокая насквозь, все сидели на лавочке, и Егоров слушал Андрея, который, держа его за запястье тонкой горячей ладонью, все говорил и говорил:

– Сначала не очень, а потом, когда из таких передрыг выкарабкивался – поверил. – Речь его все убыстрялась. – Я не то чтобы в Бога поверил, нет. Я поверил в то, что какая-то сила меня оберегает, спасает и делает все для того, чтобы я вернулся домой, к семье. Ведь я так люблю жену и девочку! И я верю, что вернусь. Обязательно вернусь! И попрошу у жены прощения за то, что я когда-то ее обижал. Тебе, может, покажется смешным, но у меня в партийном билете под обложкой на листочке еще и заклинание есть, которое мне жена написала. Это ерунда, Витька. Не верю я в это! Но все-таки... Я никогда не выкину этот листок! Потому что... потому что... считаю: пока он со мной, у меня все будет в порядке. Как меня умоляла жена не выбрасывать ни записку, ни иконку! Я смеялся тогда. А сейчас ни за что не выкину! Обязательно вернусь домой! А потом мы заживем! Знаешь как? Э-э, брат, ты даже не представляешь, как мы заживем! Тебя ждет кто-нибудь?

– Родители.

– А еще?

– Нет, никто.

– Странно, – удивился артиллерист.

– Ничего странного, – соврал Егоров. – После училища, сам понимаешь, – войска, а оттуда месяцев через восемь – сюда. Какие у молодого лейтехи, который от подъема до отбоя в части, и особенно в выходные, могут быть личные дела?

Виктору не хотелось делиться с Андреем, что еще на последнем курсе училища он честно признался своей девушке о желании попасть в Афганистан, прибавив, что туда писать ему не надо.

– Давай поженимся, – сказала девушка, – я буду тебя ждать, Витя.

– Не надо, – ответил курсант, понимая, что в Афгане с ним может случиться всякое. И хорошо, если сразу убьют. А каково ей будет мучиться с калекой?

Расставание было долгим, надрывным, тяжелым.

На письма, которые несколько раз приходили даже сюда, Егоров не отвечал. В последнем девушка сообщила, что выходит замуж.

С одной стороны, совесть немного отпустила лейтенанта, а с другой – стало настолько грустно от этого замужества, что в этот же вечер он напился с Виталькой и Файзи.

– Никто не ждет, – твердо повторил Виктор.

– Жаль, – искренне огорчился артиллерист. – Но ничего. Ты верь, что тебя кто-то ждет. Только она еще не знает, что дожидается именно тебя. Но эта девушка по судьбе – уже твоя. И если тебя убьют, то вы никогда не станете целым. А это плохо, потому что у всего живого должно быть продолжение. И у тебя должно. Ты верь, обязательно верь. Думай об этом. Ведь нам надо жить. И война эта проклятая непременно для нас закончится.

– Ладно, – сказал Егоров неприязненно, вспоминая ту, которая вышла замуж. – Для Борисыча она уже закончилась. Давай выпьем, что ли, романтик ты наш. Пойдем в палату.

– Дурак ты, – беззлобно сказал Андрей. – Пацан. Бреешься, наверное, еще раз в три дня. Семьи у тебя нет, поэтому и не шурупишь ничего.

Вспоминая сейчас артиллериста, Виктор думал, что он был даже там счастливым человеком. Андрей верил.

И его сберегала собственная надежда, символом которой и была иконка.

Но тогда, в те госпитальные дни, благодаря именно артиллеристу-корректировщику, который постоянно ходил с разведчиками по горам, засекая духовские огневые точки, лейтенант поверил, что выживет, обязательно выживет и вернется обратно. А потом жизнь его засверкает. И в ней обязательно будет любовь. Потому что как обойтись человеку без нее? Ведь любовь – та же самая вера. Вера в единственную, именно свою женщину, которая всегда рядом!

2

Набережная, словно чаша под фонтанчиком для питья, все наполнялась и наполнялась людьми. Было тесно, и курортники, скучившись, то и дело задевали друг друга локтями. Но никто это небольшое пространство не покидал.

Возле берега, одетого в камень, особенно там, где с двух сторон в набережную вонзались серые угрюмые волнорезы с влажными, скользкими боками, беспорядочно покачивалась серо-желтая пена. В иных местах она была густой и почти недвижимой, а где-то ее продолжало нести к берегу длинными, рваными полосами.

Разыскивая девушку, Виктор ступал по небольшим плитам, которыми была выложена набережная, и тогда ему казалось, что идет он по маленьким надгробиям, скрывающим урны с пеплом неизвестных ему солдат.

«Мертвым легче, – подумал внезапно Егоров. – Им, по большому счету, уже ничего не надо, и никакие проблемы их не волнуют. Зато множество сложностей возникает у тех, кого мертвые, уходя, оставляют».

Месиво тел, монотонно шаркающее по плитам, будто исполнявшее какой-то замысловатый ритуальный танец, все больше убеждало Виктора, что его погибшие ребята сейчас для него гораздо ближе и осязаемее, нежели живые, как черви кишачные вокруг.

Он с удивлением посмотрел на початую бутылку пива в руках. Когда и где он ее купил, сколько раз к ней прикладывался – Егоров не помнил. Стекло было влажным, а пиво – теплым и отвратительным на вкус.

Офицер сжал горлышко в кулаке и опустил голову. В детстве, играя в войну с ребятами, они использовали пустые бутылки как гранаты: тяжелые, увесистые из-под шампанского или портвейна – как противотанковые, а пивные или из-под лимонада – для борьбы с пехотой противника.

«Интересно, – на полном серьезе подумал сейчас Виктор, – сколько будет трупиков, если кинуть в это стадо гранату? Но только тяжелую, оборонительную. А допустим, из автомата их закосить? Забраться туда, вон на ту крышу. Да, хорошая точка, отличная – сектор обстрела замечательный. Сначала отсечь их от дорожек и аллеи, а затем погнать к пляжу. И не выпускать до тех пор, пока последний не свалится, корчась от боли».

Ухватившись за такую занятную мысль, Виктор всерьез принялся прикидывать вероятное число убитых. Количество «жмуриков» выходило значительным, и Егоров злобно ухмыльнулся.

«Твари, гнусные скоты, – шептал он. – Что вы знаете о войне? Что? Вы гуляете и совершенно не думаете о погибающих именно сейчас, в эту самую минуту, ребятах. Им плохо, а вы лыбьтесь. Почему вы не там? Вам нет до этого дела? Конечно же, нет. А мне есть! Автомат бы, и я посмотрел, как вы катаетесь, визжа, по земле; как бежите прочь, спотыкаясь; как мгновенно исчезает вся ваша напыщенность, и вы превращаетесь в тех, кем являетесь на самом деле: в животных, которые стараются прикрыться другими, желая спасти свои шкуры.

И вы, пижоны, нежно поглаживающие девушек по рукам, тоже будете делать это. Единицы из вас заслонят их от пули. Я уверен, потому что слишком хорошо знаю всю составляющую страха. И сыворотка против него в крови вырабатывается не сразу.

А я бы смог закрыть эту девушку, смог! Я хотел сделать это, но она отказалась. Где справедливость? Где? Почему они уходят к вам, а не к нам? Почему?»

В глубине души Егоров понимал, что он не совсем справедлив к окружающим его людям, что они, по большому счету, ни в чем не виноваты, но справиться с яростью не мог.

Самым большим потрясением для офицера, вернувшегося в Союз, было то, что о войне, с которой он только-только приехал, люди совершенно ничего не знали. Будто это

была не их война, а каких-то других людей, граждан какой-то иной страны. Егоров еще очень долго не мог привыкнуть к тому, что окружающие беспечно говорят о чем угодно, только не о войне. А, оказавшись в ресторане, он никак не мог поверить в то, что люди могут так беспечно веселиться в то время, как где-то постоянно погибают их соотечественники. Впрочем, с этим людским равнодушием Егоров не смирился до сих пор.

Виктор лютыми взглядами награждал неспешно проходящих, и те, улавливая непонятную злобу, исходящую не столько от блестящих, лихорадочных глаз, сколько от всей позы этого странного, подобрывшегося всем телом человека, невольно прибавляли шаг.

Он закурил, отставил бутылку и с удивлением отметил, что на лавочке сидит один, в то время как на других люди сидели плотно... Погруженный в свои мысли, он не замечал, что многие поначалу торопились присесть по соседству, но, рассмотрев то ли пьяного, то ли помешанного, резко разворачивались и уходили подальше от странного типа, который хрустит пальцами, шевелит губами и время от времени вздрагивает так, словно кто-то невидимый хлещет его раскаленным прутком.

Переполненные соседние лавки вновь вызвали в Егорове ярость: все сторонятся его, все. Но за что? Кому он сделал плохо? Почему рядом никого нет? Он же не прокаженный!

Однако разумом Виктор понимал всю глупость подобных вопросов. Прошедший год многому его научил.

Вернувшись из Афгана, он очень скоро почувствовал, что и в самом деле отличается от окружающих. Чем – объяснить не мог. Но было, видимо, нечто особенное в нем самом или его поведении, что заставляло незнакомых людей, выпивающих рядом, постоянно держаться настороже, то и дело поглядывая в сторону сумрачно молчащего человека.

Соседи или же подчеркнуто не замечали его, стараясь, тем не менее, ничем не задеть, или же начинали подхалимски улыбаться и заискивать. И те и другие вызывали в Викторе ненависть и отвращение.

Впрочем, все они при первой возможности торопились избежать подобного неудобства. Едва освобождались места – они быстренько хватали стаканы, бутылку, закуску и исчезали. Вокруг вновь образовывалось мертвое пространство. С одной стороны, Егорову так было спокойнее. Но обида на всех вокруг, тем не менее, вновь начинала терзать его.

Чем более отдалялся Афган, тем лучше чувствовал себя Виктор только со своими, которых он узнавал сразу и безоговорочно, потому что они были ТАМ...

Увидев, он призывно поднимал руку. Вошедший тут же замечал жест, так же безошибочно определяя в хмуром парне своего, и напрямик устремлялся к столику, где офицер уже наполнял водкой стакан.

Подобные случайные встречи всегда заканчивались отчаянными пьянками. Иногда они прерывались драками с теми, кто косо взглянул в их сторону. Но это случалось не часто, потому что немногие решались снисходительно смотреть на напряженных, сумрачных ребят, тянущих водку почти в полном молчании.

А если и завязывался время от времени разговор, то был он настолько тих и неразборчив, что окружающие, даже при самом большом старании, не смогли бы уловить ни слова.

От этого собутыльники выглядели еще более жутко и казались окружающим носителями какой-то страшной тайны, представителями другого, непонятного, а потому загадочного и закрытого мира.

Такие случайные встречи Виктор не продолжал. К чему? За один вечер он выплескивал все:

- Хреново, брат?
- Хреново!
- И мне хреново.
- Хочешь туда?

– Хочу.

– Вот и я хочу. Наверное, рапорт напишу, чтобы обратно.

– Ты офицер. Тебе можно. А я вот работаю, да и женился. Ребенок скоро будет. Куда тут? Давай за нашу роту связи 66-й отдельной Джелалабадской мотострелковой бригады.

– Давай.

Расставаясь, он брал адрес, обещая при случае прийти в гости, зная, что никогда не зайдет и не позвонит. Ведь главное уже было сказано.

Потом он шагнул по ночному городу на вокзал, откуда на любом из проходящих поездов за пару часов добирался из этого областного центра до станции, рядом с которой находилась его часть.

Он ехал и думал, что службы, по большому счету, – никакой, что все эти планы по боевой подготовке – бред. И солдата для войны надо учить совсем не так...

Он представлял понедельник, утренний развод и комбата, который обязательно подчеркнет: «Егоров, ты хоть и орденосец, но свои чапаевские заходы оставь. Нечего самостоятельность разводить. Чтобы занятия проводились в соответствии с утвержденным планом, тютелька в тютельку. Мало тебе двух выговоров? Или хочешь на мое место? Не получится!»

После чего подполковник пойдет в кабинет пить пиво, а багровый от несправедливости Виктор отправится в роту. Будет курить и думать, что с каждой неделей ему все больше не хочется возвращаться в часть, что он желает только одного: быть со своими, там, где война...

Как-то Егоров встретил даже женщину оттуда. Сначала он не понял, почему она потянула спутника именно в его сторону. Потом, когда, будто невзначай, завязала разговор, догадался: она безошибочно распознала в нем своего.

В Афганистане Егоров чурался женщин-вольнонаемных. Они вызывали в нем или презрение, или жалость.

Женщины там, по его мнению и многих его товарищей, делились на три категории: жен, чекисток и интернационалисток.

Первые всеми силами стремились выскочить замуж.

Вторые беззастенчиво торговали телами. В очередь к ним выстраивались целыми подразделениями.

Интернационалистки – это минимальное количество молоденьких дур, которые рванули в Афган почти так, как раньше добровольцы отправлялись в Испанию. Егорову хотелось просто-напросто отхлестать их ремнем и побыстрее отправить к мамам и папам.

Единственная женщина, с которой Виктор поддерживал хоть какие-то отношения там, была Вера. Медсестра жила с заместителем командира роты Ромкой Храмцовым.

Он часто бывал вместе с замкомроты у Веры. Даже тогда, когда Ромка уходил на операции, его непреодолимо тянуло в эту небольшую комнатку с рукодельными занавесочками на окне, где он хоть на время мог вырваться из беспробудно-холостяцкого существования.

Жилище медсестры представлялось Егорову крохотным островком спокойствия и уюта посреди безграничного океана жестокости, злобы, ненависти, отчаяния и безысходности.

Вера постоянно была занята: шила, вязала, штопала, гладила, готовила. Глядя на нее, лейтенант думал о маме, которая дома тоже не могла усидеть без дела и минуты. Подобное сходство наполняло душу Егорова не просто спокойствием, но даже каким-то умиротворением, если возможно оно на войне без принятия определенной дозы алкоголя или наркотиков.

Их отношения были очень добрыми: Вера рассказывала Виктору о своей жизни... Четыре года назад ее муж погиб в автомобильной катастрофе; девятилетний сын остался с родителями, потому что она уехала сюда, как только представилась такая возможность.

Потом, вроде незаметно, переходила на Храмцова: «Как ты думаешь, Витя, любит он меня? Ведь у него семья, ребенок. Я знаю – плохая я. Плохая! Но ведь я так люблю его! Как ты думаешь? А, Витя?» И Вера начинала плакать.

Лейтенант растерянно курил, сжимаясь, и не знал, что делать. Он всегда терялся при виде женских слез.

Потом Егоров начинал успокаивать медсестру, говоря, что она очень-очень хорошая и в жизни у нее непременно все выйдет замечательно.

Однако Ромку при этом Виктор не упоминал, потому что знал точно: не женится он на Вере. И совсем не потому, что любит жену, а лишь оттого, что больше всего на свете обожает замкомроты старший лейтенант Роман Храмцов армию на войне и себя в такой армии. А о другом он просто и не задумывался: есть баба под боком – хорошо; нет – да и хрен с ней.

Потом, чтобы хоть как-то отвлечь Веру, лейтенант начинал рассказывать, как прошла последняя боевая операция и каким молодцом оказался ее Ромка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.